

УДК 94(100)«1914/19»

И. О. Дементьев

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТАХ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

84

Представлены основные направления в изучении гендерных аспектов Первой мировой войны в современной историографии. Главные темы исследований – женщины на войне и на домашнем фронте, гендерно обусловленная пропаганда, кризис маскулинности. Показано, что без учета гендерных аспектов объяснение истории обществ во время и после войны страдает неполнотой.

This article describes the major issues in studying the gender aspects of the First World War in modern historiography. Major topics of studies include women on the battlefield and on the home front, gender-specific propaganda, and the crisis of masculinity. The author argues that the explanation of history of societies during and after WWI is incomplete without taking into account the gender aspects.

Ключевые слова: современная историография Первой мировой войны, гендерная история, женщины на войне, кризис маскулинности.

Key words: contemporary historiography of the First World War, gender history, women at war, masculinity crisis.

Развитие историографии Первой мировой войны протекает в логике, характерной для исторической науки в целом. Во второй половине XX – начале XXI в. постепенно происходило смещение акцентов с «новой социальной истории» на «новую культурную историю» (изучающую, в частности, коммеморативные практики и функционирование культурной памяти¹). Однако мы имеем дело не с тотальной сменой парадигмы², а с последовательным формированием проблемного поля, в котором апробируются различные подходы и даются неожиданные ответы на привычные вопросы. Едва ли не самым продуктивным в этом отношении направлением за последнюю четверть века стали гендерные исследования на пересечении феминистской, женской и гендерной историй.

¹ См., например, статью о коммеморации Первой мировой войны в творчестве немецкой художницы Кэте Кольвиц [5].

² Отсутствие резкого разрыва между двумя конфигурациями (социальной и культурной) в историографии Первой мировой, в частности, отмечают Дж. Винтер и А. Про [20, р. 25]. Темы, доминирующие в культурной истории, по их мнению, – домашний фронт и память о войне [Ibid., р. 31].



Первоначально, в 1970–1980-х гг., основной темой для специалистов, вдохновленных политическими достижениями феминизма и академическими успехами «новой социальной истории», была эмансипация женщин под влиянием Первой мировой. Только один пример из Билефельдской школы — в 1986 г. Уте Даниэл в диссертации «Работницы в обществе войны» описывала перспективы исследований в русле социальной истории, позволяющих выявить, как во время войны 1914–1918 гг. меняются семейно-брачные отношения, как функционируют в этих условиях эмоции, как строится траур по погибшим и т. д. [8, S. 147]. Исследовательница обозначила важнейшую роль источников личного происхождения, в частности переписки, для реконструкции моделей поведения женщин и мужчин в обществе военного времени. История женщин — это разнообразие сюжетов, в которых одни женщины справляются с новыми задачами даже лучше мужчин, а другие переживают отчуждение и кризис вследствие длительной разлуки с мужьями и иных жизненных обстоятельств [Ibid., S. 150].

85

Однако, как сокрушаются исследователи в год столетия мирового конфликта, в историографии войны «мэйнстрим... все еще очень часто игнорирует гендерную перспективу, что кажется особенно характерным для контекста Восточной и Юго-Восточной Европы» [14, p. 1]. Темам, концептам и перспективам женской и гендерной истории Первой мировой войны была посвящена международная конференция, состоявшаяся в 2011 г. в Вене. Публикуя ее материалы, Криста Хэммерле и ее соавторы обосновывали тезис о том, что «ни общества воюющих между 1914 и 1918 гг. наций, ни последствия Первой мировой войны не могут быть достаточно описаны и поняты без применения аналитической категории гендера» [Ibid.]. Историки ставят вопросы: какова роль концептов маскулинности и фемининности в массовой мобилизации населения, в протестном движении и сопротивлении? как война повлияла на гегемонный гендерный порядок и как переопределила перспективы международного женского движения? было ли восстановление поколебленного войной гендерного порядка частью процесса послевоенной реконструкции? Так открывается более широкая перспектива для детального исследования повседневности войны, выявления механизмов пропаганды, осмысления послевоенного обустройства травмированных обществ.

Первоначально историки, применявшие гендерный подход, исходили из наиболее очевидных изменений в положении женщин — последние присоединились к рынку труда в невиданных ранее масштабах, получив доступ к традиционно мужским профессиям [8]. Государствам приходилось развивать новые патерналистские политические концепты для описания этого временного занятия мужских мест женщинами. Кроме того, происходила «мобилизация фемининности» на уровне дискурса: такие характеристики женской роли в обществе, как самоотверженность, любовь, забота о других, материнство, не теряли значения, но даже переутверждались в военных условиях. В итоге историкам приходится изучать и повседневность, и государственную политику в новом свете.



Пример такого кейса — анализ повседневной жизни итальянок на итало-австрийском фронте, предпринятый Маттео Эрмакорой. Вовлечение женщин в работу на производстве и в сельском хозяйстве, а также их участие в снабжении армии свежими продуктами имело двусмысленные последствия: сами работницы необычайно гордились своим вкладом в войну, но местные власти и церковь, опасаясь маскулинизации женщин (и, соответственно, подрыва традиционного порядка), всячески стремились усилить контроль над ними [9].

С другой стороны, многие женщины в воюющих странах оказались непосредственно на линии фронта — в качестве медсестер, докторов, водителей. Женщины «на гражданке» боролись с оккупантами и занимались разведкой. Кроме того, в Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, России действовали женские воинские соединения; их вклад в войну, может быть, нельзя признать решающим, но само существование таких единиц проблематизировало сложившийся социальный порядок с типичными гендерными ролями. Некоторые исследователи прямо считают вовлечение женщин в военную деятельность «символом женской эмансипации» [6, S. 163], однако другие настроены критично. Вместе с тем поведение женщин на «домашнем фронте» — это не только молчаливое согласие с войной, реализуемое через участие в милитаризованной экономике, но также протест и сопротивление войне (на примере Австро-Венгрии см. [13, S. 16–18]).

В последнее время в центр внимания исследователей выдвигается опыт медицинских сестер. К. Хэммерле изучает австрийский кейс, показывая путь разочарования — от «военного энтузиазма» до «боевого крещения», — который прошли сестры милосердия [Ibid., S. 40]. Внимание исследователей привлекает и другой аспект этой темы: существенное различие между самовосприятием сестер, одевших форму с красным крестом, и тем образом, который бытовал в массовом сознании. В новейшей работе Б.И. Колоницкий анализирует, как общество воспринимало действия членов царской семьи, использовавших образ сестры милосердия для патриотической мобилизации населения. Благородное и, на первый взгляд, всецело отвечавшее христианским принципам поведение императрицы и других представительниц августейшей фамилии, как выясняется, с самого начала вызывало неоднозначную реакцию, перерастая постепенно в репрезентационную ошибку. Образ сестры милосердия менялся, наделялся эротизмом, использовался и женщинами, и мужчинами для целей, далеких от идеалов, пропагандируемых членами династии. Отзвуки этой тенденции различимы и в последующих событиях, так, автор по-новому трактует фантастический слух о бегстве переодетого в форму сестры милосердия А.Ф. Керенского из Зимнего дворца: «Можно с уверенностью предположить, что слух возник благодаря феминизации образа Керенского в предшествующие месяцы (его сравнивали порой с бывшей императрицей), однако воздействие культурного контекста эпохи Первой мировой войны здесь ощущается весьма сильно. Образ политика, переодетшегося в форму с красным крестом, сигнализирует не только о том, что он не является истинным правителем... Платье сестры милосердия для современников было также знаком измены и разврата» [2, с. 125]. Реконструкция восприятия



пропагандистских образов может помочь «лучше понять связь между монархической репрезентацией, патриотической милитаристской мобилизацией и культурной динамикой эпохи войны» [2, с. 126]. О «резком осуждении фактически всех сестер милосердия» пишет и другой исследователь [1, с. 632].

Ранее считалось, что поле битвы и домашний фронт — это две разные реальности, которые нужно изучать по отдельности. Теперь мнение исследователей меняется [13, S. 19–20]. Питер Гэттрелл показал (с опорой на работы Б. Энгел), что два фронта тесно переплетены как в опыте нескольких миллионов солдаток (лишившихся кормильцев и взявших на себя ответственность за семейные хозяйства), так и в практике женского активизма Февральской революции (который часто подвергался гендерно окрашенной интерпретации, рассматриваясь как продолжение неосознанных «бабьих бунтов», что прямо противоречило выдвигавшимся в этот период четким требованиям социально-экономического характера), когда войска с неохотой подавляли выступления солдатских вдов и жен. Игнорирование гендерного фактора отдаляет нас от понимания причин Русской революции [10, р. 201–202].

Сюзан Грэйзел констатирует, что границы между настоящим фронтом и фронтом домашним вовсе не были непроницаемыми: газовые атаки и массированные бомбардировки касались как военных, так и гражданских, а милитаристская риторика властей адресовалась в равной степени тем и другим [12]. Изучение пропаганды в свете гендера стало плодотворным направлением исследований. С. Грэйзел рассмотрела публичные дебаты относительно женского поведения в воюющих Великобритании и Франции на примере трех тем (женский алкоголизм; материнство и аборт; проституция и венерические заболевания) [11, р. 115]. Двойные сексуальные и моральные стандарты никуда не исчезли во время войны, и при всей вариативности женского поведения этой половине человечества было еще очень далеко до подлинной эмансипации. Курение и употребление алкоголя женщинами в обеих странах воспринималось как несвойственное этому полу увлечение мужскими дурными привычками, поэтому государство стремилось поставить их под контроль (в том числе финансовый, ограничивая, например, выплаты вдовам солдат). Британская пресса предавалась критике женского алкоголизма не только потому, что женщины были более легкими мишенями, чем мужчины, но и вследствие особого понимания национальной заинтересованности в здоровье будущего поколения англичан [Ibid., р. 118]; подобная ситуация характерна и для Франции. Война также открыла новый раунд в публичных дебатах об абортах вследствие анализа данных о массовых изнасилованиях французенок немецкими солдатами во время вторжения в январе 1915 г. (сторонники легализации абортотрудов руководствовались похожим мотивом — заботой о здоровье будущих сограждан)³. Анализируя визуальные источники (карикатуры пропагандистского характера), С. Грэйзел показывает, что женщины в условиях военного времени были вынуждены выполнять мужскую работу и могли даже усвоить мужские вред-

³ Впрочем, законодательство было изменено лишь в 1920 г. [11, р. 122].



ные привычки, но это не означало, что они могут быть мужчинами [11, р. 130]. Пропаганда воспроизводила доминирующий дискурс о морали и сексуальности, о женском поведении как объекте попечения со стороны власти. В итоге гендерный порядок в ходе войны скорее укрепился, чем трансформировался (о том, как пропаганда пыталась сделать женщин ответственными за войну, см. также [18]).

Изучение характера женских движений побуждает наиболее смелых исследователей требовать смены ракурса в анализе причин революционных процессов и изменения манеры их описания. На русском примере это показывает П. Гэттрелл: большевистский проект как комбинация марксистского социализма и идей антисамодержавного подполья позволяет описывать революцию как маскулинный проект, тогда как женская вовлеченность в эти процессы характеризуется в терминах стихийности и иррациональности. «Женские “добродетели” виделись по-мехой в этой эпической революционной борьбе», — резюмирует П. Гэттрелл, так что нарративы о революции, если не практики повседневности, почти всегда приводили к маргинализации домашней сферы в условиях героизации якобы рационально действовавших мужчин [10, р. 211].

Революционную проблематику с военной роднит экстраординарная роль насилия в повседневной жизни. Глубинное изучение этого феномена также невозможно без использования категории гендера. Множество умозаключений общего характера, присущих многим исследованиям, проходит проверку на прочность в микроисторических исследованиях. Недавний пример — осмысление Доротеей Вирлинг образов войны и насилия в обширной переписке одной немецкой семьи. Описания сцен насилия в письмах и дневниках военного времени характерны для ранних фаз конфликта, когда впечатления были достаточно свежи. Постепенно насилие рутинизируется, что получает выражение на уровне дискурса, и оценивается как позитивный опыт, трансформирующий наблюдателя в своеобразного сверхчеловека, порывающего с обычными общественными нормами: война превращала обычных мальчишек в мужчин в соответствии с распространенным концептом маскулинности, предполагавшим силу, бесстрашие, дисциплинированность, профессионализм и «равнодушное, если не позитивное отношение к насилию» [19, р. 48]. Из частной переписки также следует, что некоторые женщины усваивали маскулинные установки (в том числе относительно смысла материнства), а иные мужчины, напротив, воспринимали происходящее с нервозностью: «Когда насилие и маскулинность были тесно связаны войной, маскулинность оспаривалась, подерживаясь не всеми мужчинами и не только для мужчин» [Ibid.].

От темы жизни женщин в военное время гендерные исследования Первой мировой переходят к обсуждению мужского поведения, господствовавших и альтернативных концептов маскулинности. Обусловленность радикальных социальных трансформаций переплетающимися опытами насилия и сексуальности, проанализированная Д. Вирлинг на немецком примере, неожиданно получает подтверждение в исследовании российского историка. А. Б. Асташов в новейшей работе констатирует, что влияние сексуального опыта на социальное поведение



солдат редко становится предметом внимания военно-исторической антропологии, особенно в отношении русской армии [1, с. 616–663]. На основе источников (частной и официальной переписки, материалов прессы и фольклора, документов обследований быта и гигиены населения) историк пришел к любопытным выводам. На линии фронта наблюдалось разнообразие моделей взаимодействия солдат с женщинами (включая авантюристок, приезжавших в качестве сестер милосердия и являвших «своим характером, стилем работы прообраз будущих комиссарш эпохи Гражданской войны» [Там же, с. 623]). Всплеск сексуальной активности (со всеми рисками заболеваний) и сексуальное самоутверждение солдат сопровождалось, как показывает исследователь, негативным отношением к женщинам (вместо выражения любви и верности солдаты развлекались стихами и песенками, включая такие, в которых высказывались пожелания убийства «милки»). Впрочем, жены платили мужьям той же монетой. «Отсутствие именно среди солдат примеров любовной лирики на Первой мировой войне можно рассматривать как феномен тотальной войны, особенно на фоне Великой Отечественной войны, где такая лирика неизменно сопровождала досуг солдата» [Там же, с. 632]. «Фронтная женофобия» касалась и солдатских жен, и сестер милосердия, и беженок. А. Б. Асташов доказывает, что разносторонний сексуальный опыт российских комбатантов на Первой мировой войне породил у них новые сексуальные ожидания и спровоцировал в конечном счете «стремление изменить свой семейный статус и вырваться из патриархальной, “большой” семьи» [Там же, с. 639]. Так порожденные войной чувства вызвали трансформации социума.

Распространенная фигура для определения того, что происходило с базовыми установками мужского поведения в охваченных войной обществах, – «кризис маскулинности» [13, S. 20–22]. Во всех странах вышеописанный доминирующий концепт мужчины-воина сталкивался с обескураживающей реальностью. К. Хэммерле даже назвала очерк о кризисе маскулинности в годы войны «Больной, трусливый, малодушный...» [ibid., S. 183], подчеркнув вариативность мужских образов в реальности военного времени.

В центре многих новейших исследований оказывается мужчина, чье привычное поведение проходит испытание специфической фронтальной жизнью. Джейсон Краутхэмел исследует сформированный официальным дискурсом доминантный образ воина – эмоционально дисциплинированного, гетеросексуального и готового к самопожертвованию ради родины. Анализ документов (письма, воспоминания, фронтные газеты) показывает более сложную картину. Солдаты, конечно, в целом разделяли доминирующие установки, касавшиеся маскулинности, однако в экстраординарных условиях окопной войны постоянно экспериментировали с эмоциями и сексуальным поведением [7, р. 52]. Даже для гетеросексуальных солдат понятие «товарищества» соединяло мужской идеал с женскими характеристиками; любопытно, что солдаты-гомосексуалы, стремясь поколебать стереотипные представления о себе как о социальных аутсайдерах, принимали те же идеалы товарищества



и образцы маскулинного поведения, а «эмансипация чувств» в рамках «товарищества» позволяла им нормализовать свою гомосексуальность. Некоторые представители движения за эмансипацию гомосексуалов даже формировали свой образец маскулинности: физически крепкий и лишенный эмоциональной привязанности к женщинам мужчина, бескорыстно жертвующий собой ради родины и товарищей по оружию, виделся им идеалом воина, более релевантным современной войне. Таким образом, доминирующий гендерный порядок в контексте повседневной фронтовой жизни нередко оспаривался с разных точек зрения.

Письма с фронта — хороший источник для реконструкции сложной гаммы чувств, которые переживали мужчины на войне. В них содержатся упреки женам, наслаждавшимся комфортом и неспособным понять всю глубину травмирующего траншейного опыта. Эмоциональная поддержка от соседей по окопу помогала преодолеть тяготы фронтовой жизни, и потеря боевых товарищей многими переносилась с трудом. Лейтенант Курт К., письма которого к жене цитирует историк, пытался мобилизовать весь свой маскулинный самоконтроль, чтобы не выдать супруге свои эмоции по поводу гибели товарищей, то есть не выглядеть в ее глазах слабым. Однако ему это удавалось плохо: «И теперь все, что однажды сделало меня счастливым, потеряно во Франции, и я чувствую себя совершенно одиноким. Последний из моих друзей убыл в Восточную Пруссию, потому что должен позаботиться о своей мачехе. Но его брат был убит. Не думай, что я мягкотел. Но думай об этом так: если бы внезапно все твои подруги, с которыми ты делила радость и боль, были бы убиты, не имела бы ты таких же мыслей?» [7, р. 58]. Лотта подбадривала мужа, обещая, в полном соответствии с доминирующим образом маскулинности, что он скоро найдет новых друзей, однако Курта это не утешало и не убеждало.

Психологическая и физическая ущербность, которую переживали мужчины на фронте, еще более усиливалась в условиях плена, где кризис маскулинности проявлялся еще заметнее. Лишенные признаков воина пленные сталкивались с потерей статуса в социальной и гендерной иерархии. Преодоление порожденного этой потерей дискомфорта в русском плену осуществлялось в форме мужских театров (австрийских, немецких, венгерских, реже турецких) [17]. В офицерских лагерях такая сцена давала возможность воспроизвести квазибуржуазную жизнь, воссоздать довоенное чувство комфорта и власти. Молодые офицеры играли женские роли и на сцене, и (нередко) в повседневной лагерной жизни. Алон Рахамимов обосновывает тезис о том, что такой театр нес одновременно подрывной и нормализующий потенциал, будучи «больше, чем просто “безопасным пространством”, которое переутверждало гетеросексуальную маскулинность высшего и среднего класса. Он одновременно создавал сильные противоположные “подводные течения”, которые санкционировали формы гомоэротических отношений и трансгендерных идентификаций, особенно как часть того, что некоторые мемуаристы из военнопленных называли “культулом женского имитатора”» [ibid., р. 364].



Особое внимание исследователь уделяет офицерам (основной источник — мемуары), испытавшим в русском плену настоящий шок вследствие попрания всех принципов рыцарского кода чести. Депрессия, вызванная потерей статуса и чувством мужской уязвимости, получила выражение в театральных представлениях на лагерной сцене. В отличие от рядовых, которым не хватало ни времени, ни ресурсов для организации полноценной самостоятельности, офицеры имели возможность предаваться театральному мастерству, в том числе на почти профессиональном уровне. Мемуары свидетельствуют о том, что театр становился средством преодоления физического и интеллектуального упадка, терапевтическим средством против перверсивного поведения, инструментом поддержания «нормальности» [17, р. 374]. Действительность, однако, была сложнее: лагерный театр имел амбивалентную природу, одновременно утверждая и оспаривая сложившийся порядок и устойчивость категорий гендерной идентичности. В основе этой амбивалентности — двойственность опыта вовлеченных в самостоятельность мужчин: «Перемещенные из эпицентра военной маскулинности на фронте, пленные офицеры заканчивали тем, что оккупировали пространство, которое не было ясно определено в дихотомичном гендерном мире Великой войны» [Ibid., р. 382]. Сцена стала способом переутвердить чувство маскулинной власти в экстремальных условиях, но в то же время она допускала трансгендерное поведение и размывала границы между «нормальностью» и «ненормальностью».

Преодоление дискомфорта, вызванного ущемлением маскулинности, могло реализовываться в плену и другим способом — путем воспроизведения традиционного гендерного порядка во взаимоотношениях с местными женщинами. На многочисленных примерах это показано в работе Н. В. Суржиковой. Вернувшиеся домой фронтовики обнаруживали неприятные факты: «Военнопленный... прижился в нашей деревне и распоряжается над нашими гражданками солдатками» [4, с. 268]. Селянки защищали мужчин, занявших места ушедших на войну мужей, и государство в конечном счете санкционировало в 1917 г. смешанные браки [Там же, с. 266 — 269, 353 — 355].

Наряду с пленом есть и иные обстоятельства, в которых проблематизируются гендерные роли, например беженство (на российском материале см. [10, р. 203 — 210]). Надо признать, что современная историография исследует и другие подходы к анализу траншейного поведения мужчин: Александр Лафон в работе «Товарищество на фронте. 1914 — 1918» предлагает формулу «парадоксального одиночества», описывающую сложный комплекс социопсихологических установок мужчин, вырванных из привычного контекста повседневной жизни [15].

Гендерный подход обогатил историографию не только ревизией многих стереотипных представлений, он стимулировал переосмысление роли источников личного происхождения. Частная переписка, дневники, воспоминания ветеранов стали едва ли не единственным доступным исследователям источником по значительному кругу вопросов. Источники не бывают идеальными, и К. Хэммерле подчеркивает



трудности, возникающие при обращении к ним для изучения опыта насилия: память очевидца по понятным причинам всегда колеблется между воспоминанием и забвением [13, S. 28–31]. Однако в условиях отсутствия других источников материалы личного происхождения приобретают исключительную значимость.

К. Хэммерле обозначает перспективы исследований гендерных аспектов истории войны: изучение сложных взаимоотношений между двумя фронтами, перенос фокуса внимания с Западного фронта на восток Европы (и на периферию вообще), переосмысление темы отношений гендера и эмоций (в свете истории эмоций⁴), переоценка феномена насилия (изменение в годы войны преваляровавших концепций мужского и женского в результате рутинизации насилия) [14, p. 8–11]. Во всех этих случаях исследователи обречены на междисциплинарный подход. Тематика гендера и сексуальности применительно к жизни на Восточном фронте еще несколько лет назад определялась как «новая область для историков» [17, p. 363], и, несмотря на известные успехи, российские исследователи пока отстают от зарубежных коллег в этой области. Больше десяти лет назад П. Гэтрелл ожидал появления скрупулезных исследований перемены в поведении взрослых мужчин (рабочих, солдат, пленных, беженцев) в России военного времени [10, p. 211], но эти ожидания справедливы и в отношении других стран.

К. Хэммерле высказала надежду, что период 2014–2018 гг. даст «историографический шанс» для переосмысления истории Первой мировой войны в гендерном плане [13, S. 9]. Весь опыт мировой историографии последнего «преддубильного» времени показывает, что у сторонников гендерной истории для оптимизма в этом отношении имеются некоторые основания.

Статья подготовлена при поддержке Программы развития Балтийского федерального университета им. И. Канта (проект Л-2014-55739).

Список литературы

1. Асташов А. Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014.
2. Колоницкий Б. И. Образ сестры милосердия в российской культуре эпохи Первой мировой войны // Большая война России. Социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох / ред. К. Бруиш, Н. Катцер. М., 2014. С. 100–126.
3. Ланник Л. В. Семья, долг, честь в Великой войне: проблемы повседневности германской военной элиты // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. Вып. 12. С. 94–101.
4. Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 годы). М., 2014.

⁴ Новейшие исследования охватывают широкий круг тем – солдатские страхи [16], солдатскую культуру памяти (на австрийском материале [13, S. 161–181]), роль жен в повседневной жизни и карьере кадровых военных (на германском материале [3]) и т. д.



5. Шарп И. Свидетельства о Первой мировой: цикл «Война» Кэте Кольвиц (1922–1923) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. Вып. 12. С. 101–110.
6. Beyrau D., Shcherbinin P.P. Alles für die Front. Russland im Krieg 1914–1922 // Durchhalten! Krieg und Gesellschaft im Vergleich 1914–1918 / Hrsg. A. Baurkämper, E. Julien. Göttingen, 2010. S. 151–177.
7. Crouthamel J. Love in the trenches: German soldiers' conception of sexual deviance and hegemonic masculinity in the First World War // Gender and the First World War / ed. Ch. Hämmerle, O. Überegger, B. Bader Zaar. Basingstoke, 2014. P. 52–71.
8. Daniel U. Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft. Göttingen, 1989.
9. Ermacora M. Women Behind the Lines: The Friuli Region as a Case Study of Total Mobilization, 1915–1917 // Gender and the First World War. P. 16–35.
10. Gatrell P. The Epic and the Domestic. Women and War in Russia, 1914–1917 // Evidence, History and the Great War. Historians and the impact of 1914–1918 / ed. G. Braybon. N.Y.; Oxford, 2003. P. 198–215.
11. Grayzel S.R. Liberating Women? Examining Gender, Morality, and Sexuality in First World War Britain and France // Ibid. P. 113–134.
12. Grayzel S.R. The Baby in the Gas Mask: Motherhood, Wartime Technology, and the Gendered Division Between the Fronts During and After the First World War // Gender and the First World War. P. 127–143.
13. Hämmerle Ch. Heimat/Front. Geschlechtergeschichte/n des Ersten Weltkriegs in Österreich-Ungarn. Wien; Köln; Weimar, 2014.
14. Hämmerle Ch., Überegger O., Bader Zaar B. Introduction: Women's and Gender History of the First World War – Topics, Concepts, Perspectives // Gender and the First World War. P. 1–15.
15. Lafon A. La camaraderie au front. 1914–1918. P., 2014.
16. Michl S., Plamper J. Soldatische Angst im Ersten Weltkrieg. Die Karriere eines Gefühls in der Kriegspsychiatrie Deutschlands, Frankreichs und Russlands // Geschichte und Gesellschaft. 2009. Vol. 35, H. 2. S. 209–248.
17. Rachamimov A. The Disruptive Comforts of Drag: (Trans)Gender Performances among Prisoners of War in Russia, 1914–1920 // American Historical Review. 2006. Vol. 111, iss. 2. P. 362–382.
18. Sharp I. Blaming the Women: Women's 'Responsibility' for the First World War // The Women's Movement in Wartime: International Perspectives, 1914–1919 / eds. A.S. Fell, I.E. Sharp. Basingstoke, 2007. P. 86–109.
19. Wierling D. Imagining and Communicating Violence: The Correspondence of a Berlin Family, 1914–1918 // Gender and the First World War. P. 36–51.
20. Winter J., Prost A. The Great War in History. Debates and controversies, 1914 to the Present. Cambridge, 2006.

Об авторе

Илья Олегович Дементьев – канд. ист. наук, доц., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.
E-mail: IDementev@kantiana.ru

About the author

Dr Ilya Dementyev, Associate Professor, I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.
E-mail: IDementev@kantiana.ru